



## А. БЕЛЫЙ

### В. В. Розанов

Раз, когда с Гиппиус перед камином сидели с высокой «проблемой», — звонок: из передней в гостиную дробно-быстро просеменил, дрожа мягкими плотностями, невысокого роста блондин с легкой проседью, с желтой бородкой, торчком, в сюртуке; но кричал его белый жилет, на лоснящемся, дрябло-дородном и бледно-морковного цвета лице глянцевели очки с золотой оправой; над лобинной клок мягких редких волос, как кок клоуна; голову набок склонил, скороговорочкою обсюсюкиваясь; и З. Н. нас представила:

— «Боря»!

— «Василий Васильевич»!

Это был — Розанов.

Уже лет восемь следил я за этим враждебным и ярким писателем, так что с огромным вниманием разглядывал: севши на низенькую табуретку под Гиппиус, пальцами он захватывался за пальцы ее, себе под нос выбрызгивая вместе с брызгой слюной свои тряские фразочки, точно вприпрыжку, без логики, с той пустой добротой, которая — форма поплева в присутствующих; разговор, вероятно, с собою самим начал еще в передней, а может, — на улице; можно ль назвать разговором варенье желудочком мозга о всем, что ни есть: Мережковских, себе, Петербурге? Он эти возникшие где-то вдали отправленья выбрызгивал с сюсюканьем, без окончания и без начала; какая-то праздная и шепелявая каша, с взлетаньем бровей, но не на собеседника, а над губами своими; в вареньи предметов мыслительности было наглое что-то; в невиннейшем виде — таимая злость.

Меня поразили дрожащие кончики пальцев: как жирные десять червей; он хватался за пепельницу, за колено З. Н., за мое; называя меня Борей, а Гиппиус — Зиной; дергались в пляс

ке на месте коленки его; и хитрейше плясали под глянцем очковым ничтожные карие глазки.

Да, апофеоз тривиальности, точно нарочно кидаемой в лоб нам, со вкусом, с причмоками чувственных губ, рисовавших сладчайшую, жирную, приторно-пряную линию! И мне хотелось вскрикнуть: «Хитер нараспашку!» Вдруг, бросив нас, он засопел, отвернулся, гребеночку вынул; пустился причесывать кок; волосы стали гладкие, точно прилизанные; отдалось мне опять: вот просвирня какого-то древнего храма культуры, которая переродилась давно в служащую при писсуаре; мысли же прыдали, как пузыри, поднимаясь со дня подсознания, лопаюсь, не доходя до сознания, — в бульках слюны, в шепелявых сюсюках.

Небрежно отбулькавши мне похвалу, отвернулся с небрежством к Гиппиус и стал дразнить ее: ведьма-де! З. Н. отшучивалась, называя его просто «Васей»; а «Вася» уже шепелявил о чем-то своем, о домашнем, — о розовощекой матроне своей (ее дико боялся он); дергалась нервно коленка; лицо и потело, и маслилось; губы вдруг сделали ижицу; карие глазки — не видели; из-под очков побежали они морготней: в потолок.

Вдруг Василий Васильевич, круто ко мне повернувшись, забрызгал вопросиками: о покойном отце<sup>1</sup>.

— «Он же — умер!!!»

Вздрог: выпрямился; богомольно перекрестился; и забормотал — с чмыхом, с чмоком:

— «Вы — не забывайте могилки... могилки... Молитесь могилкам».

И все возвращался к «могилкам»; с «могилкой» ушел; уже кутаясь в шубу, надвинувши круглую шапку, ногой не попав в большой ботик, он вдруг повернулся ко мне и побрызгал из меха медвежьего:

— «Помните же: от меня поклонитесь — могилке!»

И тут же, став — ком меховой, комом воротника от нас — в дверь; а З. Н. подняла на меня торжествующий взгляд, точно редкого зверя показывала:

— «Ну, что скажете?»

— «Странно и страшно!»

— «Ужасно! — значительно выблеснула, — вот так *плоть!*»

— «И не *плоть*, — фантазировал я, — *плоть без “ть”*; в звуке “ть” — окрыление; “*пло*” — или лучше два “п”, для плотяности: п-п-п-пло!»

В духе наших тогдашних дурачеств прозвали мы Розанова:

— «Просто “*пло*”!»

Ни в ком жизнь отвлеченных понятий не переживалась как плоть; только он выделял свои мысли — слюнной железой, носовой железой; чмахом, чмыхом; забулькает, да и набрызгивает отправлениями аппарата слюнного; без всякого повода смягнет, ослабнет: до следующего отправления; действует этим; где люди совершают абстрактные ходы, он булькает, дрызгает; брызнь, а — не жизнь; мыло слизистое, а — не мысль.

Скоро стал я бывать на его «воскресеньях», куда убежал от скучных, холодных воскресников Ф. Сологуба, который весьма обижался на это; у Розанова «воскресенья» совершались нелепо, разгамисто, весело; гостеприимный хозяин развязывал узы; не чувствовалось утеснения в тесенькой, белой столовой; стоял большой стол от стены до стены; и кричал десятью голосами зараз; В. В. где-то у края стола, незаметный и тихий, взяв под руку того, другого, поплескивал в уши; и — рот строил ижицей; точно безглазый; ощупывал пальцами (жаловались иные, хорошенькие, что — щипался), бесстыдничая переблеском очковых кругов; статный корпус Бердяева всклокоченною головой ассирийца его затмевал; тут же, — вовсе некстати из «Нового времени»: Юрий Беляев; священник Григорий Петров<sup>2</sup>, самодушная туша, играя крестом на груди, перепячивал сочные красные губы, как будто икая на нас, декадентов; Д. С. Мережковский, осунувшийся, убивался фигурю крупною этою; недоуменно балдел он, отвечая невпопад; с бокового же столика — своя веселая группа, смакующая безобразицу мощной вульгарности Розанова; рыжеусый, ощеренный хищно, как бы выпивающий карими глазками Бакст и пропухший белясо, как шарик утонченный с еле заметным усенком — К. Сомов<sup>3</sup>.

Все — выдвинуты, утрированы; только хозяин смален; мелькнет белым животом; блеснет своим блинным лицом; и плеснет, проходя между стульями, фразочкою: себе в губы; никто ничего не расслышит; и снова провалится между Бердяевым и самодушною тушей Петрова; здесь царствует грузная, розовощекая, строгая Варвара Федоровна<sup>4</sup>, сочетающая в себе, видно, «Матрену» с матроной; я как-то боялся ее; она знала, что я дружил с Гиппиус; к Гиппиус она питала «мистическое» отвращение, переходящее просто в ужас; я, «друг» Мережковских, внушал ей сомнение.

Розанов, взяв раз за талию, меня повел в показную, парадную комнату; она зарела, как помнится, — розовым; посередине, как трон, возвышалось ложе: не ложное; и приводили: ему поклониться; то — спальня.

Однажды он, смяв меня и налезая, щупал, плевнул вопросом; и я, отвечая, чертил что-то пальцем по скатерти: непроизволь-

но; он, слов не расслышав, подставивши ухо (огромное), видел след ногтя, чертившего схему на скатерти, и, точно впившись в нее, перечерчивал ногтем, поплеывал: «Понимаете!» Силился вникнуть; вдруг он запыхался, устал, подразмяк, опустил низко голову, снявши очки, протирал их безглазо, впадая в прострацию; физиологическое отправление совершилось; не мог ничего он прибавить; мыслительный ход совершался естественной, что ли, нуждою в нем; так что, откапав матерей мыслей, он капать не мог.

Не забуду воскресников этих; позднее на них пригляделся — впервые я к писателю Ремизову; он сидел, такой маленький, всей головою огромной уйдя себе под спину; дико очками блистал; и огромнейшим лбом в поперечных морщинах подпрыгивал из-под взъерошенных, вставших волос; меня вовсе не зная, устался, как бык на красное; вдруг, закрывивши умильные губки, он мне подмигнул очень странно; мне сделалось жутко; и он испугался; сапнувши, вскочил, оказавшись у всех под микиткой; пошел приставать к Вячеславу Иванову:

— «У Вячеслава Иваныча — нос в табаке!»

И весь вечер, сутуленький, маленький, странно таскался за В. И. Ивановым; вдруг, подскочивши к качалке, в которой массивный Бердяев сидел, он стремительно, дьявольски-цапким движением перепрокинул качалку; все, ахнув, вскочили; Бердяев, накрытый качалкой, предстал нам в ужаснейшем виде: там, где сапоги, — голова; там же, где голова, — лакированных два сапога; все на вырубку бросились; только не Розанов, сделавший ижицу, невозмутимо поплескивал с кем-то.

Однажды я днем зашел; он посулил подарить свою книгу, редчайшую («О понимании»): «Вы приходите за ней; я вам ее напишу». Закрученный вихрем, признаться, о книге забыл; не зашел; он же ждал: приготовился; и страшно обиделся.

В этот приезд я его повстречал на Дункан; был я с Блоками; взяв меня под руку, он недовольно поплескивал перед собою, мотаясь рыжавой своей бороденочкой:

— «Хоть бы движенье как следует; мертвый живот; отвлеченности, книжности... нет!»

И, махнув недовольно рукою, он бросил меня, не простившись.

Поздней его встретил в «Весах»; М. Ф. Ликиардопуло<sup>5</sup>, гостеприимно его усадив на диван, перед ним разложил животы оголенных красавиц; и Розанов мерил их, как специалист по вопросу, высказывая очень веско и строго суждения, геометрические, — об удобствах или неудобствах младенца: лежать — в

животе такой формы; в нем был не цинизм, — что-то жреческое, исправлявшее свою обязанность; вдруг он воскликнул:

— «Вот это — живот: согласился бы крестным отцом быть!» — плевнул он, довольный.

При встречах меня он расхваливал — до неприличия, с приторностями; тотчас в спину ж из «Нового времени» крепко порою отплевывал; там водворился Буренин, плеватель известнейший; Розанов, тоже сотрудник, равнялся с другими: по плеву; меня это не занимало; при встречах конфузился он; делал глазки и сахарил; значит, — был плев; и поэтому как-то держался в сторонке от Розанова до момента еще, когда прежние его друзья вдруг с усердием, мне непонятным (чего ж они прежде дремали?), его стали гнать и высаживать из разных обществ; а он — упирался; я несколько лет не бывал у него уже.

В 1908 году мокрая осень стояла в Москве; день плаксивился лепетнем капелек; небо дождями упало; весь этот период покрыт мне тоскою и тьмою; в гнилом и вонючем ноябрьском тумане, когда электрический свет проступает, как сыпь, раз брел уныло я, пересекая Тверскую; у памятника кто-то дерг — за рукав; оборачиваюсь: смотрю, — мокренькое пальцецо, шапка мятая; в скважинах поднятого воротника — зарыжела бородавка: метелкой; рука без перчатки хватается: мокрая.

Розанов!

— «Откуда это, Василий Васильич?»

— «Да вот — проездом; спешу в Петербург; дожидаясь заведующего газетой. — Схватился руками за локоть и ижицу сделал: — Голубчик мой, не покидайте меня; делать нечего!»

Дергая за руку, дергаясь и пришепетывая, стал он водить и туда и сюда в закоулках, завешанных грязным туманом; воняло; и — брызгали шины; калошами черпали воду; вдруг кинулись мороки красные, белые, синие, «Часы Омега», брызнь кинематографов, перья накрашенных дам; среди мороков — Розанов, сделавши ижицу, мокрой губою выбрызгивал свои «ужасики»: об аскетах святых; и прохожие, остановившись, оглядывались.

Затащивши в кофейню Филиппова, меж освещенными столиками, продолжал он выплевывать «бредики», — мокрый, потертый, обтрепанный до неприличия, — средь щеголей, пшютов, пернатых и размазанных дам; вдруг он выразил немотивированный интерес к А. А. Блоку, к жене его, к матери, к отчиму; я же был с Блоком — в разрезе; и мне было трудно на эти интимные темы беседовать с В<асилием> В<асильевичем>, он сделался зорким; трясущейся, грязной рукою хватал за пальто, рысино глазки запырскили вместе с очковыми блестками; голову набок скло-

нив, залезая лицом своим, лоснясь в лицо, стал выведывать, как обстоит дело с полом у Блока.

И тут же, среди чмыхов и брызг, обхвативши карманы свои, стал просить у меня — себе в нос:

— «Уж простите, голубчик, в кармане платка нет; а — на-сморг, нет мочи; у вас нет платка?»

— «Есть, нечистый!»

— «Давайте же, миленький, какой ни есть: не побрезгую!»

И, отхватив мой платок, суетился над ним: де заведующий ожидает; мы вылетели на бронхитную, рыжую от освещения пырснь; он в ней — канул.

И вновь для меня провалился сквозь землю: на год.

. . . . .

Юбилейные дни 1909 года; полный зал: фраки, клаки; Москва, вся, — здесь: чествуют Гоголя; и даже я надел фрак, мне пришедшийся впору (не свой, а чужой); как бездомная психа, ко мне притирается Розанов, здесь сиротливо бродящий; места наши рядом — на пышной эстраде; А. Н. Веселовский<sup>7</sup>, уже отчитавший, плывет величаво к Вогюэ<sup>8</sup> и другим знаменитостям; Брюсов, во фраке, — выходит читать; В<асилий> В<асильевич> в уши плюется, мешая мне слушать; а я добиваюсь узнать, от кого он приехал сюда, что собой представляет он: общество, орган, газету? Мы все — «представители» здесь (на эстраде); он делает ижицу, делает глазки; и явно конфузится:

— «Я?.. От себя...»

Значит, — «Новое время», мелькает мне; и мне, признаться, не очень приятно с ним рядом; он, взявши под руки, не отстаёт; и мы бродим в антракте, толкаясь в толпе; уж не он меня водит, а я его, в тайной надежде нырнуть от него: меж плечей; нам навстречу — Матвей Никанорович Розанов<sup>9</sup>; вообразите мое удивление: друг перед другом два однофамильца, согласно расставивши руки и улыбнувшись друг другу, сказали друг другу:

— «Матвей Никанорович!»

— «Василий Васильич!»

Такие различные Розановы!

У меня сорвалось невольно, весьма неприлично:

— «Как, как, — вы знакомы?»

Матвей Никанорыч, представьте мое изумление, воскликнул:

— «По Белому, — да!»

— «Как “по Белому”?»

— «Да не по вас, а по городу Белому, где я учительствовал».

И Василий Васильич сюсюкнул с подъярзом:

— «Матвей Никанорыч, — мой учитель словесности — как же!»

И, глазки потупив, такой пепиньерочкой, чуть ли не с книксеном, стал еле слышно поплевывать что-то: Розанов — Розанову.

Я их бросил, нырнув меж плечей; и с тех пор никогда одного из них уже не видел; Матвея Никанорыча видывал после; Василья Васильевича — никогда, никак!

